

ДВЕ СУДЬБЫ: В. В. НАБОКОВ И В. П. АСТАФЬЕВ

Ушедший в прошлое XX век стал для России веком войн и революций, принесших в жизнь русского народа социальные катаклизмы, крупные волны внутренних миграций и многомиллионную эмиграцию. Оказавшись расколотой кризисными процессами бурного века, культура России разделилась на несколько самобытных потоков: один из них продолжил свое развитие на старорусской территории, вынужденно вживаясь в условия советского тоталитарного государства; другие оказались в условиях выживания на чужеродных землях, где судьба была более милостива к одним деятелям русской культуры (таких было не очень много) и совсем уж безразлична или даже враждебна к другим.

Яркими представителями русской культуры XX века, отразившими своеобразие вариантов эмигрантского и русско-советского, стали замечательные писатели и литераторы-бытописцы своего поколения Владимир Владимирович Набоков (1899-1977 гг.) и Виктор Петрович Астафьев (1924-2001 гг.). Не для всех нынешних читателей бытоописательная сторона творчества обоих писателей очевидна, но именно она со временем привлекает к их творчеству все большее внимание как литературоведов и историков, так и заинтересовавшихся постижением событий недавнего прошлого рядовых читателей.

Как отметил несколько лет назад современный российский писатель Андрей Битов, «мы узнаем у Набокова то, что забыли сами, мы узнаем свои воспоминания о собственной, не столько прожитой, сколько пропущенной жизни, будто это мы сами у себя эмигранты. Набоков запомнил все и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество подробности жизни, что она и впрямь ожила под его пером...» [1]. В полной мере эта битовская оценка характеризует и творчество Виктора Петровича Астафьева.

Судьба Набокова и Астафьева внешне крайне несхожа. Первый происходил из семьи родовитой русской знати, отметившейся в течение нескольких веков видными деятелями отечественной политической элиты (парадоксально при этом, что через свою жену Владимир Набоков оказался в связях сродства даже с такими деятелями советской элиты, как М. Литвинов и А. Микоян!), он сменил за время эмигрантской жизни гражданство (стал с 1945 г. американцем), пытался адаптироваться к жизни в Германии и Франции, Англии и США, пока не обрел покой в Швейцарии. Виктор Астафьев из иного социального слоя, и за свою жизнь узнал тяготы жизни социальных низов (побывал в детдоме, испытал жизнь беспризорника), военные тяготы и сложный путь к общественному признанию.

Однако сквозь внешнюю несхожесть проступают черты удивительной схожести в жизненных взглядах и творчестве обоих авторов. И дело здесь не только в критическом отношении писателей к советской действительности (у Набокова подобная критичность выглядит более отстраненно, почти академично, тогда как Астафьев более жестко критикует фальшь официальной советской истории, лицемерие советской литературы в вопросах описания хода и последствий коллективизации и индустриализации, событий военного лихолетья). У обоих явно прослеживается момент ностальгии по некоей идеальной, но ушедшей в прошлое «былой России», жители которой жили более правильно, чем в советское время, отличались более приемлемыми для обоих авторов стандартами справедливости и цивилизованности. Без этого ностальгического момента слишком многое в творчестве писателей переломного века кажется случайным и малопонятным, а сами они могут быть даже заподозрены в некоей упреждающей приспособляемости к запросам своего сиюминутного времени.

В качестве примера можно рассмотреть произведения двух великих писателей: набоковские «Круг», «Другие берега», «Истребление тиранов» (1934-1954 гг.) и астафьевские «Последний поклон» (1968 г.) и «Ода русскому огороду» (1972 г.).

В первую очередь здесь наблюдаются несомненные и весьма любопытные философские и интертекстуальные связи.

В композиционном плане и в «Оде русскому огороду», и в «Других берегах» чередуются как бы две точки зрения: одна - точка зрения взрослого, умудренного жизненным опытом человека, другая - точка зрения

* © И.В. Башкова, В.Я. Смотрицкий, 2006.

ребенка. Это характерно для многих произведений, соотносимых с жанром автобиографии. События жизни ребенка перемежаются с событиями взрослой жизни, и наоборот.

Однотипен и прием обращения к памяти.

У Набокова - это Мнемозина:

Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон...

Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года; и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни.

У Астафьева – это просто память...

Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встреч, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском ветру голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.

Набоковский «Круг» и астафьевская «Ода...» имеют кольцевую композицию, которая представлена в этих текстах по-разному.

Первое предложение «Круга» начинается вводным словом *во-вторых*, тогда как *во-первых* возникает лишь в самом конце этого рассказа.

А в «Оде русскому огороду» кольцевая композиция проявляется на сюжетном и лексическом уровнях. В начале «Оды...» маленький мальчик начинает путь из бани через огород домой, в конце произведения автор возвращается к этому сюжету: мальчик приходит домой и засыпает. Образ светящейся серебряной паутинки открывает и завершает «Оду...» (*Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепенулось, отозвалось на едва осязаемый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовой оборваться, под куполом небес, притушив дыхание, идет ко мне, озаренный солнцем, деревенский мальчик.*

...Истлевает паутинка, уплывает, рвется, оставляя серебряный отсвет. Я пытаюсь удержать в себе хотя бы отблеск дивного видения и какое-то время оголенным сердцем чувствую едва осязаемое касание дальнего света, вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки, запахи, краски, принесенные памятью.

Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно дышит, и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть — и все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка, но свет ее отдаленней, слабей, утихают во мне звуки прошлого, блекнут краски, чтоб снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется успокоения. Хоть какого-нибудь...).

И в «Оде русскому огороду», и в «Других берегах» представлены одинаковые лексико-семантические поля (ЛСП) и группы слов, описывающие мир детства и детское мировосприятие.

ЛСП со значением «память», «время», «восприятие» («звуки», «запахи», «краски», «свет»), «растения», «животные», «гигиена», «учение», «игра».

В анализируемых нами произведениях можно выделить ряды сопоставлений.

Первый ряд сопоставлений связан с некоторыми оценками социальных перемен середины XX века.

Набоков («Истребление тиранов»):

Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин - и все, что сюда воображение машинально относит; забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей страны, - образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды им брошенный (в свальную яму глупости) лозунг "половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована" повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья.

В повести «Последний поклон» Астафьев пишет: *Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками.*

Кинь по крошке кирпича — и Кремль наш древний со вишовой, в нем засевавшей, задавило бы, захоронило бы вместе со зверующей бандой по самые звезды. Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки. И дождались!

Второй ряд сопоставлений носит оттенок ностальгии...

Астафьев:

Надо сказать, что землей баловались и вели хозяйство как попало все большие поселенцы — перекатили поле. Они и городьбу-то порой не ладили, вместо огурцов и помидоров, требующих труда, ежедневной поливки и прополки, сажали цветы. Один бывший каторжник, веселый человек, ягоду посадил. Ягоды в той

местности носили из лесу, и вот тебе на: огородную землю ягодой заняли! И называлась та ягода не черницей, не земляницей и не брусницей — вик-то-ри-ей!

Викторию ту лихие деревенские «огородники» еще зеленую выдрали с корнями и съели, ничего ягода, хрушкая, однако с лесной не сравнишь — воды в ней много и духом слаба.

Больше в селе викторию садить никто не решился, и постепенно о ней все забыли.

Набоков:

Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением.

Не менее интересно третье сопоставление, связанное с играми раннего детства.

Астафьев:

Жутко в борозде под листьями лежат, рядом с глазом мохнатая гусеница лист дырявит, лап у нее сколько, глазу ни одного. Тут же острыми клыками усатый черный жук перекусывает муху пополам. Носорог брюкву точит, аж головой в кружак влез! Серые сленни мальчика тычут, до крови кусают, мошка тоже не дремлет, в нос, в уши, в глаза набивается, разъедает их — долго не выдержат, выскакивать надо из укрытия, но раздвигаются прохладные кущи, солнце в глаза бьет, крик над головой: «Во-о-он он где, варначина! Имай его!».

Набоков:

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда было три-четыре года...

Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я всё же медлил в этой давящей мгле, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку.

Четвертый вариант сопоставлений касается прекрасного чувства первой влюбленности мальчика в девочку.

Астафьев:

На старой, изжженной траве, под которой пробудилась бойкая зелень, по другую сторону лога, заполненного до краев мутной водою, стояла и плакала девочка в синеньком платьишке...

Над головой девочки сияло солнце.

...девочка в синем платье, с букетом диких ирисов, растущих за логом... — заняла в сердце мальчика свое вечное место и всю жизнь являлась ему вместе с теми подробностями, которые заделали его глаз, слух и укатились в глубину памяти

Но та, что исцелила его в детстве, осталась в нем таким ярким озарением, что и до сих пор стоит перед ним все в том же синем платьишке, все с теми же цветками в руке — дикими ирисами.

Набоков:

В тот июльский день, когда я наконец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рожи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения.

...я увидел, как все три они шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одинаково загнув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами... Та же природная стихия, которая произвела ее в тающем блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом и сестру; луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то в венке васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса; но только девятого августа по новому стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало.

И Набоков, и Астафьев ищут ответы на однотипные философские вопросы бытия. По одним аспектам их воззрения сближаются, по другим явно полемичны.

Набоков:

Ее (автобиографии) цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем однозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе.

Астафьев:

Много лет он носил в себе беспокойство и тоску и так ждал девочку, что она взяла и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный долгой разлукой, мучительным ожиданием, счастливо выдохнул, припадая к ней: «Девочка моя!».

Астафьев:

...все на земле идет кругом, все в этом круге установлено разумной чередой: следом за весенними огнями и приборкой земляной труд начинается: пахать люди будут, боронить, сеять, в огородах овощи садить. Потом всходы пойдут. И снова, и снова, удивляя мир чудом сотворения, еще недавно бывшая в прыску земля задышит глубоко, успокоенно, рожая плоды и хлеб.

Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни и, хотя ничего еще понять не может и объяснить не умеет, все же чувствует: все на земле рождается не зря и достойно всякого почитания, а может, и поклонения.

Набоков:

Спираль — одухотворение круга.

В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным.

Набоков:

Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже, кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

Астафьев:

С рождения укоренившаяся в мальчике вера: все, что есть вокруг, — неизбежно, постоянно, никто никогда и нигде не денется из этого круга жизни — рухнула! Он был так потрясен, что несколько дней не уходил с берега и, глядя на пустынную реку, причитал: «Уплыла девочка!.. Уплыла девочка!..»

При всей разнице прожитой жизни удивительны совпадения оценок детства у Владимира Владимировича и Виктора Петровича.

Астафьев:

Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек, в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...»

...беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженного, конопатого, — неужто он был мною, а я им?!

...Такая тишина, такая благодать вокруг, что не может мальчик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы.

Набоков:

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем.

...Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось...

...Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству.

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России...

...Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать.

Таким образом, творчество Владимира Набокова и Виктора Астафьева (хотя мы и анализировали в данной статье из работ последнего главным образом лишь «Оду русскому огороду»), как нам кажется, содержит множественные интертекстуальные связи. И хотя в «Оде...» нет ни одной прямой ссылки на Набокова и его произведения (и документально подтвердить подобное мы пока не можем), ощущения многочисленных ре-

минисценций набоковских произведений у В.П.Астафьева весьма заметно. При этом ассоциативные связи выявляются как на структурном, так и на содержательном уровнях.

Думается, что сходство это во многом обусловлено отношением рассмотренных нами произведений великих писателей к одному и тому же жанру автобиографической прозы. У обоих авторов наличествует общая языковая картина мира. И хотя в произведениях одного из них мы видим отзвуки утраченной в силу исторических перемен русско-сибирской старины, а у другого налицо типично эмигрантская ностальгия по былой дореволюционной Великой России, объединяет обоих замечательных представителей русской культуры любовь к их общему Отечеству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Битов А. Ясность бессмертия: Восприятие непредставленного / А. Битов // В.В.Набоков: Pro et contra. Антология. – СПб., 1997. - С. 13.